



Александр Иванович Мальцев родился в 1948 году в селе Лесополяна Нижнедевицкого района Воронежской области. Окончил исторический факультет Воронежского государственного университета. Работал в Воронежской области учителем, директором школы. Служил в органах МВД. Публиковался в журналах «Подъём», «Север», «Приокские зори», региональной печати, коллективных сборниках. Автор четырех поэтических книг. Живет в поселке Бор Рамонского района Воронежской области.

Александр Мальцев

СТАРИК И БУДНИ

Рассказ

Еще до середины октября тяжелые западные ветры сорвали остатки листвы со старых деревьев. Теперь они, как изношенные метлы, горестно и пусто продолжают скрести небо голыми прутьями. Зато молодняк поросли еще во всю бестолково форсит своей яркой зеленью, путая октябрь с маем.

Ветер полей наваливается на них, производя нарастающий шум. Дойдя же до нужного и понятного только ему бала, отступает, чтобы вновь, собрав по холмам и оврагам свое воинство, дурашливо и бестолково ворваться в пустоту крон, показывая буйство увядающим окрестностям. Поэтому сельский люд в такое время все больше дома, все больше у теплой печки, потягивая где чаек, где крестьянскую водку, предаваясь размышлениям на самые неожиданные темы. Слава Богу, под зиму угодье вспахано, припасы в погребе, дрова в сухости, хода печи очищены от сажи, окна утеплены и будни зимы не пугают.

Рассвет вошел на эту часть земной тверди бережно. И чутко. В его невнятных обобщениях намаянный старик на топчане, остатки ужина на столе, его одежда на спинке стула. Удерживал ли еще старик в своем сознании что-то сном, дремной явью, или уже не удерживал — знает Бог. Так с нами, потом с теми, кто после нас придет на эту землю, будет происходить обыденное преобразование из младенца в старика, из яви в не явь.

Ночью, задевая все на своем пути, большое и тяжелое ввалилось во двор. Покатившись, загремело ведро, что-то еще шумно упало, попутно задев угол избы. Подул ветер! После первого, бесприцельно шального порыва громко и отрешенно-тревожно зашумел он в голых сучьях деревьев. С воем раскачав провода так, что они, соприкоснувшись, ярко вспыхнули, выбросив сноп искр короткого замыкания. Тьму пронзили разлетающиеся в разные стороны яркие точки. Тяжело и гулко громыхнул ветер кровлей крыши, метнулся меж сараями. Как подзагулявший мужик, попутно натываясь на предметы на своем пути, распахнул он калитки, напористо проверил заборы на ветхость.

И уняться бы неугомонному, утихнуть-передохнуть ему бы где-нибудь в чистом поле или в соседней балочке, да куда там! Пошел и пошел он творить свои глупости по дворам, срывая и унося развешанное на просушку белье, ветхую кровлю сараев. Наполнив тревожным шумом окрестности, разбудил старика в его постели.

Так накатывается экспресс: сначала огнями, ближе — размером и массой, потом уже, промчавшись мимо, шумом и духом машины, запахом металла, разогретой смазки и отработанными газами.

Пошарив впотьмах глазами и не найдя проем окна, старик предположил: часа три — раз не светает. Ветер, то затихая, то вновь накопившись всеми своими тяжелыми силами, грозно ломится в окно, в стену. Тьма ночи, нарастающий шум и новые удары встревожили старика. Тягостно потекли размышления.

Ему представились луга и овраги в ночную непогоду. Много лет, с самого осознания действительности они радовали его не только в праздники сенокосной поры, но и буднично. Когда-то его отца, дедушку и бабушку они радовали, нынче радуют его. Теперь же там, подняв мусор, с воем носятся над остатками снегов напористые весенние ветры.

От набежавших мыслей непонятная тревога заскребла было ему душу. Но уютило тепло постели, уютил сладостный восторг присутствия этой ночью в своей избушке. Восторг ощущения сиюмоментности своего присутствия здесь, на этой земле, наполнил грудь теплом сопричастности: и к неустойчивой ночи, и к скорой предстоящей дню. «И что не спится?», — сквозь ленивую полудрему подумал старик.

Так же, много лет назад, когда он был еще мальчиком и гостил у бабушки с дедушкой, завывал зимними ночами за стенами ветер. Но ни тревоги, ни страха он не вызывал. Жизненный опыт мальчика еще не связывал грубые шалости ветра с опасностью.

Проезжая мимо этого полустанка в уютном и теплом железнодорожном автобусе РА 2 (рельсовый автобус второй модификации) — по старой памяти все называют его поездом, — присмотрел я в этом месте из окна вагона ладненький домик рядом с заброшенным вокзалом, останками перрона и подсобных строений. Совсем недавно — в две тысячи уж и не помню каком году, в феврале месяце — проезжал я здесь на встречу с выпускниками в школу нашего детства и юности в старом венгерском дизель-поезде. Окна вагонов были заделаны железными листами. Собственные дизели давно умолкли, тянул тепловоз. Отопление в вагонах при февральских морозах не работало. Ох и досталось тогда!

Пассажиры, сняв обувь, подбирали под себя замерзшие ноги, пытаясь хоть как-то согреться. А тут еще в Семилуках в вагон вошел контролер-кассир и с шутками коробейника велел показать, а у кого нет — приобрести билеты на право проезда. Пассажиры недовольно загудели, но стали шарить в сумках и карманах. Выбора не было. Это было транспортное обслуживание, доставшееся нам по наследству от памятного ельцинского правления. Теперь-то о-го-го: езда по-барски!

Идея приобретения обростала подробностями в виде фантазий на тему домика в укромном уголке. Поездив мимо недоступного пока «винограда», я не стал, подобно басенной лисе, утверждать, что он зелен и потому зуб неймет, а приступил к реализации задуманного. Попытка наугад увидеть бабушку-хозяйку для совершения желаемой, с моей стороны, сделки купли-продажи оказалась непростой затеей, что еще больше разожгло желание.

Измаянный безысходом, сошел я однажды на этой самой остановочной площадке с решением самостийно осмотреть домик поближе. Натоптанность тропки вроде бы и угадывалась, но очень невнятно. Пробравшись сквозь высокие застарелые бурьяны, приблизился к одному из окон домика. Картина, открывшаяся моему взору, удивила и озадачила одновременно. На стопках кирпичей под углами середину комнаты занимала металлическая рама с панцирной сеткой от кровати. На голой сетке, с ладонями под затылком, в почти романтической позе, глядя в потолок, лежала женщина. С угла на угол комнаты со свисающими с плесневелых стен обрывками обоев диагонально протянута была связанная в нескольких местах, сильно провисшая веревка. На ней висело какое-то тряпье неопределенного назначения.

Подсматривать чужую жизнь далее было нехорошо. На мой стук в дверь тут же послышались шаги. Не спрашивая по-деревенски «кого там носит», женщина распахнула дверь. Узнав о моих намерениях, категорично заявила: «Дом продавать не собираюсь. В городской квартире очень шумно из-за соседей. А тут я отдыхаю». Вспомнив увиденное в окно отдыхание, я сменил тактику действий. От прямого наседания перешел к длительной осаде ходом «со двора».

Хозяйка ладненького домика родилась в белгородской деревне. Как и все, в неповторимое время советской юности, а может быть, юности вообще, уехала в город Воронеж. Устроившись на стройку подсобником, стала городской. Сначала доросла до каменщика, потом до крановщика. Долго жила в общежитии. Уж под старость получила квартиру. Замуж выйти не успела. А теперь, на девятом десятке, ни к чему.

— Родня-то какая-нибудь в родной деревне осталась?

— Какая родня! — как-то разом заоткровенничала старушка. — Пригласили меня, уж при какой власти не помню, родные на свадьбу. Жила я тогда, — она махнула рукой, — выживала, одним словом. Прихватила с собой кое-какие деньжонки, поехала. Не забыли — радовалась по пути в родные места. А когда эти деньжонки на блюдо подарила-положила, прогнали с торжества меня. Сказали, что нищим подают больше. Теперь те молодые проходу не дают: подпиши да подпиши квартиру. Подруге в городе со своими ночевками я уже надоела, тут от родни и хоронюсь...

Ход со двора оказался успешным. Тогда я еще не знал особенностей дачного ведения хозяйства. Не знал и о том, что придется мне пахать-благоустраивать этот уголок бесконечно. Но зато сделал для себя очень важное открытие: мы слишком долго усаживаемся в жизни для того, чтобы, едва успев обессиленно присесть передохнуть, почти тут же уйти, даже не поняв и не заметив собственного ухода...

К приезжему люду в этих местах, как и везде на Руси, отношение настороженное. Всех, кто не наши, кто говорил и говорит непонятно, называли наши предки «не мы». Отсюда духом старины — немтыри, немцы. Здесь же и сейчас используют шаблонно-современное — сектанты. В основном это воронежцы. «Поскупили все за бесценку, земли не пахнут, бурьян разводят...», — негодуют остатки местных.

Приезжих в деревне половина, если не больше. Каждый живет своей верой: кто эзотерикой, кто йогой, кто лучистым человеком — начитались-наслушались

всякого. Последствия ненаправленной образованности вкупе с ненаправленной идеологией государства. Официоз, хоть и запоздало, но неуклонно подталкивает людей к церкви. Но не всех церковность устраивает. Блуд же и шатания местным старушкам чужды. Кто явно не православный человек, по их мнению, тот без царя в голове. Без царя в голове обезноживший приезжий Иван, бывший мастер спорта по боксу, без царя в голове его жена Настя с двумя высшими образованиями. Они вегетарианцы, значит, начитались-наслушались... с толстовским блудом в умах живут. Хотя Иван мне как-то почти пожаловался в завуалированной форме: «До знакомства с Настей я килограмм мяса съедал за раз, а как поженились — перешел на бургеры. На так называемое вегетарианство перешел».

— И ничего?

— Бунтовалось поначалу. Потом попривык. — И, сверкнув глазами, выложил сокровенное: — Килограммчика два бы сейчас навернул, потом еще б попросил. Я ведь к ее первому мужу на разговор ходил. Вот, говорю, с твоей Настей пожениться хочу. «Поженись, поженись», — говорит. И что, спрашиваю, будет? «А там узнаешь», — говорит... Вот и поженился.

В доме на отшибе всем ветрам открыто живет Лида. Штукатур-маляр очень широкого профиля. Она сволокла в свой дом книги своих клиентов, которые вместе с капитальным ремонтом чистили кладовые от хлама прошлых заблуждений и дарили ей их мешками. Почитывая добытое, «пишет» она теперь на чистый лист своего ума уже свои идеи-предположения, подчиняясь Гурджиеву и Блаватской, современным гуру с их последователями оккультизма. Говорят, оккультизм для освоения требует знания фундаментальных наук, колоссальных усилий, а тут трах-бах — и в дамках!

Есть люд чужой и еще. В их число, видимо, должны зачислить теперь и меня. Раз местные так решили, пусть приезжие будут сектантами — может, так оно и правильно.

По-настоящему выговор «давеча» и «надысь» наблюдал со стороны, встречаясь в райцентре с заведующим отделом культуры района, уроженцем Андреевки Беленовым Александром Митрофановичем. Его брат Иван долгое время руководил оркестром Воронежского государственного народного хора. Местные говорили, что с солисткой Воронежского хора Иван Митрофанович в родную Андреевку приезжал, концерты прямо у дома закатывали, деревня волнами ходила! Братья гончарихинскому речевому разливу-говору никогда не изменяли, да если бы и захотели, все равно б не смогли, потому что слышали от рождения только этот говор. Отец их, бригадир колхозной тракторной бригады, бабник и прелекий пересмешник, в простоте, бывало, слова не скажет. Их мама балалайкой улицу собирала.

На этом поставить бы точку, что я поначалу и сделал: наброски ведь, эскизы — зачем приводить какие-то подробности, повествуя-упомяная Беленовых? Но проходя как-то через парк в городе Воронеже, где «ловит галок» скульптурный Манделштам — мне так видится замысел скульптора, — вышел на пересечение улиц политика Фридриха Энгельса и композитора Петра Чайковского. Угол дома приметно украшала памятная доска о том, что в этом доме жил некогда Владимир Васильевич Ефимов — главный хормейстер Воронежского государственного народного хора... имени... — пробежал глазами я, пропуская куски текста, проходя мимо дальше, дальше, а в голове: Иван Митрофанович Беленов руководил оркестром и был дирижером упомянутого хора с 1967 по 2001 год. Значит, они около 10 лет руководили вместе, значит, и Ивана где-то «помнит» или должна помнить-отмечать памятная доска. Только где?

Ивана Беленова видел всего один раз в жизни. И то — мельком в райцентре.

Знакомый в очках — упомянутый выше Александр Митрофанович — и сильно смахивающий на него мужчина шли мне навстречу.

Поздоровались. Александр Митрофанович меня знал и даже как-то предлагал мне, тогда еще пацану, после окончания средней школы должность в отделе культуры — то ли инструктора, то ли методиста. Я ему еще тогда поерничал: туп, глуп, мол, — неразвит... А он мне в ответ: «Назначили бы меня сейчас министром культуры, я бы пошел. Через полгода поняли б, что я туп, глуп, как ты говоришь, но лишать должности и куда-то переводить было бы поздно. Тебя же отец научил на баяне играть?»

— Я сам выучился, — возгордился ответно я тогда.

— На слух, по-деревенски, гонять кур со двора? — поддел Александр Митрофанович.

В этот раз мы не говорили. Он, указав на стоявшего рядом:

— Мой брат Иван, — представил, и мы разошлись. Теперь хожу, расспрашиваю о нем то там, то сям, и приоткрывается завеса времени, рельефно прорисовывая почти трагический образ большого музыканта, заслуженного артиста РСФСР, руководителя оркестра народных инструментов академического русского народного хора имени Массалитинова. Почему я так скрупулезно и подробно перечисляю определения его места работы? Да потому, что у нас сегодня бормотуну рэпа уделяется больше внимания, чем какому-то там русскому народному... да к тому же еще и академическому.

После окончания консерватории в Харькове Иван Беленов с семьей обосновался в Воронеже. О везении или невезении рассуждать нет смысла — Иван Беленов у Бога на счету был товаром штучным. Любой инструмент в его руках начинал играть, и его поражало, изумляло еще в детстве то, что у сверстников-друзей ничего не получается. Он наивно полагал, даже не подозревая о своей исключительности, что другие ленятся, не хотят брать в руки балалайку или гармонию. У него на первом месте была домра, на втором — аккордеон, а уже потом все остальное. Его исполнительское мастерство и дирижерская манера характеризовались, по моему мнению, словами Боратынского: «...лица необщее выраженье». Иначе же и быть не могло!

При всех своих достоинствах и званиях человек он был мягкий, лиричный, общительный, очень ранимый. Никогда не отказывал сельчанам поиграть на крестинах, на свадьбе, просто поддержать компанию. Для этого ехали за ним в Воронеж. Тяжело было просунуть в дверь легковушки огромный немецкий баян с необъятной клавиатурой и кучей регистров, подаренный ему в Германии в знак благодарности за высокое исполнительское мастерство, — вспоминают хорошо знавшие его местные. Так случилось, что он сполна испил чашу самого трагичного в жизни: умирает двадцатилетний сын и совсем еще девочкой — дочь, распадается семья. Я вспоминаю слова старшего его брата Александра: «Зря брата Ивана направил музыке учиться, — сетовал он, — может, был бы сейчас жив». Ибо не смог Иван привыкнуть к светскостям высшего круга — пригублять и поддерживать. Жил по-деревенски бесхитростно и на полную катушку!

Тогда страна стремительно катилась в пропасть. Академический, да еще русский народный хор как-то стал никому не нужен. Провал в культуре и экономике тяжело отразился на мыслящей части нашего общества. В то страшное время Иван пристрастился к алкоголю. Ему крайне необходимы были и помощь, и участие, и понимание.

Поддержку Иван Беленов нашел в общении с неординарным воронежцем, человеком трудной судьбы (в два года от роду оставшегося без матери), коммунистом не для карьеры, а по убеждению Иваном Шабановым. Первое лицо области и потому человек крайне занятой, Шабанов как мог поддерживал и скрашивал пос-

ледние годы Ивана Беленова. Политик и музыкант, оба высшего разряда профессионалы и интеллектуалы, ощутили тогда взаимоприятие душ. Об этом я узнал от хорошо знавших Ивана Беленова. Обращался к Шабанову через близких к нему людей с просьбой помочь дополнить образ Беленова. Иван Михайлович почему-то не откликнулся, может, послеинсультное состояние стало причиной.

Кроме упомянутых братьев, сообразил любвеобильный колхозный бригадир Митрофан Беленов попутно еще одного Сашу на стороне... и не одного. Этому Саше деревня дополнительно к имени пригородила кличку Нос. Заходит он иногда ко мне поболтать. В общении с Сашей Носом сильно чувствую его беленовскую породу.

— Ты вот, — входя во двор и будто продолжая начатое, — вроде бы как пограмотней меня будешь, скажи — в Европе и Америке тоже везде станции по-ихнему и по-нашему называются? У Вовки Смока как у бывшего железнодорожника спросил, он говорит, это так сделано для того, чтобы немцы, когда опять придут, не заблудились. По-моему, так и выходит, а иначе зачем. И еще — мы где с тобой живем? А то я уже совсем что-то плохо понимать стал. Телевизор каким-то кешбэком замонал. Особенно дико слышать мне, как наши девки с экрана непонятное выговаривают: то кешбэк, то какой-то супермаркет. То какие-то и-сто-грам общают — позвони, мол, и нальют. То онлайн — кобель, что ли, по-ихнему брешет, то про какую-то Дусю или продулся — хрен поймешь. Так вроде специальность у них называется. Намотать бы их виспонки на кулак да всыпать, чтоб три дня сесть не могли. Вот это бы был кешбэк, онлайн, про Дусю и все остальное! Тут не то запьешь, залокчешь, по-собачьи залокчешь и завоешь! Опять же по телевизору все про такси, да про такси, а на борту этого такси сити мобил с одного боку, сити мобил с другого — сам в Воронеже видел — написано! Да они что там, с ума, что ли, походили все. Натовские прихлебатели хреновы! Мы из-за этих натовцев страну в девиантных просрали, осталось Россию на распыл пустить... — все в душу к нам лезут и лезут. И все им ничо чем. Это ж надо так угнуться, распластаться у ног в угоду противнику: большинство товаров, названий магазинов, каких-то заведений на ихнем натовском языке. Так и подмывает спросить, может, у натовцев там все на русском — только у кого спрашивать-то? И все это творят ваньки наши — то ли угодничают, то ли популярность себе зарабатывают на всякий случай. Пидаристию уже почти в страну выпустили! Эт все у нас, как и у них, теперь демократией называется. А я вот никакой терпимости в этом деле не допускаю. Ей-Богу боюсь: дети мои дерьма наглядятся в интернете да по телеку и скурвятся. Тогда и жисть не в жисть пойдет. Хотя и так уже понятно, того, чем жили, что пели и чем веселились, уже не будет, а значит, зачеркнули меня еще при жизни, уже досрочно похоронили меня.

— Ты кем всю жизнь проработал? — спрашиваю.

— Ну шофером, а что, — не чувствуя подвоха, переспрашивает Сашка.

— А то, что слово шофер в переводе с французского означает кочегар, знаешь?

— Истопник, что ли? — недоумевает Сашка. — И слово шофер, выходит, не наше?.. Ну дела!

В бумагах покойного отца нашел я обыкновенный почтовый конверт. Не удлинненный сегодняшний, а тот — советский, почти квадратный. Он был туго заполнен того же формата листочками ватмана. Восторгов не описать, когда я разглядывал чудо этих листочков. Акварельки красногрудых птичек, клюющих на снегу ягоды рябины, весеннее половодье, зимняя заря, окрашенный зарею снег. Так отобразил он будничность бытия и свое отношение к нему. Знаю, художники не любят акварель за ее непощенье ошибок.

Отец мой увлекался живописью и музыкой. Для меня тогда это не было чем-то из ряда вон — привычная обыденность, да и только. Иной не видел и потому не знал. И вот уже с сединой в волосе я осознал и понял, каких трудов это ему стоило: без музыкального образования, с деревенской довоенной семилеткой, живя в глухомани без общения с близкими по духу людьми. И о своевременности интереса я узнал слишком поздно. Поздно мы спохватываемся. Да и спохватываемся уже *потом*, потому знаем о близких нам людях, да и о чужих так мало!

Перевел я эти изображения в электронный вид и увеличил. Получились... картины. Даже при сильном увеличении изображение не размывалось, имело четкие границы! Миниатюры навели меня на мысль прием использовать так, как могу, — словесно описать где-то увиденное мною что-то, где-то услышанное. Фрагментарно связав единым определением — короткие наброски, эскизы. О чем? Люди, тени, небо, время из той и этой жизни.

Снега выпало еще совсем немного. Мне нравится гулять по склонам многочисленных холмов окрестностей. Отвернешь по склону вправо или влево — и вот тебя уже затишок от назойливости колючей поземки спасает. Можно подняться выше, где поземка интенсивнее гнет и посвистывает в высохших бурьянах. Нравится то, что не надо разгребать ногами глубину тяжести лежалых снегов.

Фигуру, постепенно вырастающую из-за неровностей холма, увидел сразу, и пока она, вырастая, приближалась и вырисовывалась, все думал: кто бы это мог быть? Когда же следом и вокруг обозначились серые спины овец, понял — так это же Ленька!

Еще издали, узнав меня, заговорил, захохотывал — манера общения у него такая. Он слова смешивает со смехом, не разрывая, не отделяя одни звуки от других, потому чаще всего, о чем говорит Леонид, понять трудно:

— Внук в гости приезжал, — хвалится Леонид. — Так с порога кричит: «Дед, включай телевизор!» Во какие дети теперь пошли — атомные! А я когда со службы в армии возвращался, все думал: в колхоз не хочу, значит, придется в Воронеж на завод идти работать. Ждать квартиру, как все, кто ушел из деревни. Топчусь на вокзале, жду свой поезд. Глядь, объявление: требуются на службу в милицию... Во, думаю, там ведь тяжелей пистолета поднимать ничего не придется. Пошел на службу. Закончил юридический факультет университета, и пошла моя жизнь совсем отлично от родительской. Не любил я только кабинетное сиденье — от него дичаешь. На люди вырвешься — и жизнь полнее понимается, и чувствуешь себя здоровее. А тут — беда, как снег на голову: мать одна осталась в Андреевке и занемогла. Ко мне в Воронеж ехать категорически отказалась: помирать буду только дома. Поперву ездил, но чую — тяжело. Дали мне при увольнении в запас звание подполковника, и сел я, как у нас говорят, на корень. Мать доходил, овец, коз, пчелу развел, огородом занимаюсь.

Ленькиным овцам, окружившим нас плотным кольцом, болтовня хозяина, видно, уже порядком надоела. Они, толкая его мордами, заглядывали ему в лицо с немим вопросом: что, мол, стоим, чего дождемся?

— Идем, гдаа идем, — успокоил он скотину, а мне пояснил: — Поднимусь с ними повыше, где веточки кустарника помоложе. Снео им, как и нам колбаса, тоже надоедает...

Скоро они скрылись в складке холма.

Живет Леонид в самом конце Андреевской луговины. Вольготно живет, выплеснувшись на склон позади дома угожьями строений и огородом. И сына своего он назвал Леонидом. Деревня, дабы их не путать, старшего зовут Ленькой, младшего — Ленчиком.

«Эй, малец, подь-ка», — Бородатый дядька возится то в одном, то в другом кармане широченных штанов, заправленных в густо пахнущие дегтем сапоги. Найдя конфетку, обдувает с нее карманный мусор и протягивает мальцу: «Скажи отцу: дядя Игнат, мол, велит готовить снасти — отсеемся и на Сапронику рыбалить поедем. Не забудешь?» — «Не, дядя Игнат, не забуду». — «Ну, дуй». — «Спасибо за конфетку, дядя Игнат». — «Кушай, кушай, малец, на здоровье».

Минуло лет двадцать. Мужики жгут самосад на завалинке. Деревенские новости перетерты, скоро ужин. «Здрасьт, дядя Игнат». — «Здорово-здорово. Куда мчишь?» — «Батяня наказал корову встренуть, — приостанавливается пацаненок в рубахе на вырост. — Скоро пастух Пашка косорокий стадо пригонит». — «Чей это такой шустрый?», — толкает в бок Игната любопытный до всего, степенный мужик по подворью Зот, плохо слышащий и видящий из-за солидности возраста. «Васьки Мальца». — «Мальцов, значит, — итожит давний приятель и сосед Зота дед Хвечер. — Во как время-то прет! Тока-тока мальцом бегал, а уже отец...». В сегодняшнем селе чуть ли не каждое подворье Мальцевы.

— Господи, — шепчет в потемках старик, — спасибо Тебе. Наставил Ты меня видеть ничтожное в том, что властвует и торжествует, видеть отсутствие величия в величине, ценить возвышенное, даже если оно унижено и в лохмотьях, увел от саморазрушения через самовозвеличивание. Ведь родись я чуть раньше, сам бы и Бога ругал, и церкви рушил, прости меня, грешного, вместе с другими ходил бы по дворам раскулачивать. И глаза б мои загорались ненавистью к так называемому классовому врагу — моему ни в чем не повинному сельчанину.

Председатель комитета бедноты, снявший колокола с колокольни храма, искренно считал дело, которому он служит, правым, и умер в бою с врагами, как подобает воину. Прости нас, заблудших.

Но и вчера, и сегодня состоятельные люди не думают о завтрашнем дне. Они искренно верят в честность своих доходов, готовя страшные бунты и расправы, ненависть одних по отношению к другим. Прости и им, Господи.

Старик поворачивается на другой бок лицом к стене и пытается уснуть, но мысли его — одна другой назойливее — роются, подобно птичке Божьей, в соре кусочков и обрывков фраз, слов, высказываний.

— Когда человек начинает думать, нарастает тревога и температура тела. В нем начинают химические реакции, приток глюкозы в мозг усиливает деятельность нейронов. Хромосомы памяти, — старик начинает злиться, — зывают каким-то образом человека с Богом... Господи, — шепчет в ночи старик, — зачем мне это умствование? Дай мне сон и покой.

Нашел я на пустующем подворье в пустующей деревне длинную мосластую и прочную палку. Помороковав, насадил на нее железо граблей — так, как выглядел этот инструмент в прошлой жизни. В годину великого разграбления на Руси охотников до дармового железа было много. Тогда-то железо забрали, палку бросили. Сашка Нос, увидев инструмент, деловито посоветовал работать граблями, не выходя из дома, через форточку...

Люди узнавали меня, а я их чаще всего видел у остановки поезда. Когда-то был перрон с вокзалом... «Когда-то» — это из той жизни. Теперь — полуразрушенные строительные плиты на бетонных блоках и щебень. Ширина плиты разделена желтой полосой. За полосой — зона опасности; безопасная зона — с полметра.

Местные не без юмора называют эту твердь под ногами глобусом. Почему — я понял только зимой, когда в центре на натоптанности образовалась обледенелая

округлость. Люди в возрасте с необходимыми атрибутами инсультов, инфарктов и головокружений на плиты взбираются только после останковки поезда. Боятся, сдует их потоком воздуха от подходящего поезда — ведь ни ограждения, ни необходимого пространства нет.

Одноклассник звонил из Воронежа. «Я, — говорит, — прочел твое об Андреевке в журнале и как дома побывал, только не сегодня. Сегодня все заросло; ни проехать, ни пройти. А в той, что ты описал — светлой и многолюдной нашей Андреевке, — побывал, и такая у меня благодать в сердце разлилась! К тебе просьба: поговори с местными фермерами — пусть помогут издать повесть книжечкой, чтоб раздать оставшимся жителям. Страшно становится — ведь уже их внуки об Андреевке ничего знать не знают и знать не будут. Журнал-то им в руки точно не попадет, а с интернетом они не дружат», — закончил телефонный разговор бывший одноклассник.

Звоню фермеру Воропаеву, объясняю — передаю просьбу одноклассника. Безродно и бездетно, на мой взгляд, андреевский фермер Воропаев — в ответ: «Меня это не интересует». «Не дожил, не вытянул фермер Воропаев на андреевского мужика, не вытянул», — подумалось.

«И мое уйдет вместе со мной, но мое же и останется. Детям, а потом и внукам останется чурингой, странным знаком памяти поколений моего рода, — подумалось старику. — Верят же аборигены Австралии, что предмет, обозначенный чурингой, несет в себе память ушедших поколений. Его утеря лишает человека связи с родом и всем земным».

Как старость приходит впервые итогом всем зимам, мартовским метелям, апрельским ручьям и майскому цветению, так впервые приходит и смерть. И боюсь, и любопытно: как-то оно будет?

...Расширяясь с огромной скоростью, с огромным ускорением Вселенная «разбегается», растягивается, теряет плотность, и через миллиарды лет начнется ее превращение в гигантское газообразное облако. Ученые нашли образное определение разбеганию Вселенной от точки взрыва до сегодняшнего дня — КРАСНОЕ СМЕЩЕНИЕ. В какой-то момент на мгновение наступит равновесие, и тут же Вселенная, подчиняясь законам небесной механики и Божьей воле, как растянутая до предела пружина, начнет с громадным ускорением сжиматься. И через миллиарды миллиардов лет (странная для всех времен и состояний единица отсчета) сожмется до размера булавочной головки с неимоверной для понимания умом плотностью.

— Неисчислимые миллиарды лет без точки отсчета попросту не существуют! Но мне-то что до того? — резонно задает себе вопрос старик, недовольный новой непонятной атакой ума. И с любопытством заглядывает далеко вперед: — Чуринга, память поколений... она-то как? А очень просто: она и тогда, в хаосе пляски атомов, должна сохраниться альтернативой смерти, неким превращением одного в другое!

Не люблю диалог, хотя в литературе он раскрывает либо былое, либо сегодняшнее, либо будущее, но почти во всех случаях наставляет — как должно быть. Чаще всего морализирует читателя, утверждая, как правильно. Автор в этом случае сам себя наделяет правом пророчества вместе с артистами, учеными и творческой интеллигенцией. Он присваивает функцию политиков — их прямую обязанность. У ученых крыша едет от упражнений в аналитике, у артистов — от частого преобразования, у писателей — от богатства воображения. И они, и автор теряют связь с действительностью, уходя в искусственно придуманный мир. Ведь диалог — чистей-

шая выдумка писателя, одно из средств изображения. Христос, говоря о Божьих заповедях, услышанных из горящей купины, подчеркивал, что это уже не Божье, ибо произошло от человека, их записавшего и сквозь себя их пропустившего.

— Я усю жизнь проишачила вот тут, на железной дороге, — причитает Нина Николаевна — высокая согбенная старуха с синими от малокровия губами и необыкновенной для баб худобой. Она построила себе плохонький домик как раз на том месте, где стоял когда-то дом моих родственников Чиковых. Топая пацаном через поле от деда, я, намерзнувшись на полевом морозном сквозняке, сворачивал к их избе погреться.

— Детей родить не смогла, — продолжает причитать старушка. — Шпалы таскала да тяжелым молотком костыли в них забивала. Теперича вот живот болит. И поехать на зиму нехкому... Ежели дождик мочит али солнушка печет — хоронимся вон там... — Она показывает палочкой на тихонько гудящий на высокой стальной площадке высоковольтный трансформатор. — Говорят, опасно, а можа, ничего? — Смотрит иронично-вопросительно.

— Ничего, — отвечаю, — раз еще никого еще не убило.

Заклинился остаток диска в болгарке. Больших тисков нет. Клиновый механизм стопа в приводе я своими попытками ослабить диск сломал. Осталось одно — ехать к Сашке Носу. Вовка Смок живет подальше. Смок — подворная кличка, данная Вовке сельчанами. Это еще что! В центре приезжей бабе подвесили кличку — Пепси-Кола! И как и не было у нее никогда своего имени.

Хозяйство у Смока большое: корова, телка, лошадь, мелочь пернатая — когда ему отрываться от дел, чтоб мне помогать чинить болгарку. Прихватив инструмент, сел я на скутер. Сашка Нос попридержал рвущегося на цепи кобеля, дав мне проехаться. Узнав о проблеме, пошел собирать инструмент. Мария Михайловна, мать Сашки, стала жаловаться на проблемы с поправкой здоровья. «Заходишь, — рассказывает, — к доктору в кабинет. Доктор выслушивает жалобы, согласно покачивая головой, а сам в это время документы листает — карту по-ихнему, по-больничному, — и, видно, увидев дату рождения, округляет глаза. “Бабушка! — удивляется. — Вам ли, мол, жаловаться!”». Марии Михайловне тогда было 97, но смеялась она своей притче совсем не по-старчески молодо.

Сашка принес газовый ключ и, принохиваясь к моему скутеру, сообщил:

— Что-то от него бензином прет больше, чем от меня перегаром.

— Карбюратор, наверно, сочит, травит бензин, — высказал я догадку. Тут же на днище перевернутой бочки принялись за дело. Двое — далеко не один. Держу машинку двумя руками. Мария Михайловна, с интересом наблюдая, подает Сашке совет, как лучше захватить узкую круглую гайку газовым ключом. Сашка, слушая мать, зажимает и сдергивает согласно ее совету гайку. Гордо поглядывая на мать, Сашка поясняет: «Она всю жизнь на тракторах в колхозе проработала, где всегда все делали сами, — чего ты хочешь!».

Не обращая внимания на Сашкин комментарий, Мария Михайловна, говорит мне, как бы продолжая начатое: «А дядя твой Михаил все звал меня сестренкой. Когда немцы стали детвору собирать для отправки в Германию, Мишка выхватил меня у немца из рук, что-то выкрикнул ему в лицо — и, пока он приходил в себя, мы убежали. А выкрикнул он немцу по-немецки, что я его сестра — башковитый был хлопчик, Царство ему Небесное. В школе услышал и запомнил. Не зря запомнил — пригодилось. С тех пор всю жизнь звал меня сестренкой. А как Мария его померла — запил. Уж я ему тогда не раз говорила, укоряла, просила бросить, он только отмахивался: мне, мол, туда теперь надо поспешать, ждут меня там — заждались. И помер».

В один из летних дней, когда разморенная жарой природа пребывает в некоей прострации умиротворения и неги, привалилась названная Михаилова сестренка к прилавку магазина в Ольшанке, рассматривая товары, и затихла навсегда...

— Каковы ж границы мощи человека, его разума? — спрашивает тьму старик и продолжает размышлять: — Ведь и надо мной свершится насилие смерти, и крест мой несу и буду нести до конца. И конец мой не страшен мне хотя бы потому, что из поколения в поколение повторяется одно и то же. Это подсказывает, что и мой уход не будет чем-то из ряда вон. Мы привыкли покидать землю без ропота или с ним, с внутренним страданием — чаще всего — или без. Тогда зачем же с этим тянуть? А тянем! Сомнение это наше — в наличии христианского Царствия Небесного, сомнение — в божественности музыки великих музыкантов всех времен и народов, божественного в стихах. Потому и тянем! Это свидетельствует о превалировании в нас суетного...

На многих ли сошло Великое Озарение? Иисус ведает то, чего не ведали другие, кроме Отца Его. По глубине и силе мысли неисчерпаем Он. И вечен. Пусть все мы дети Божьи, но между Ним и нами — страшно подумать, какая пропасть! Хотя и мы, в какой-то мере, бессмертны! Мы видим и переживаем чужую смерть, смерть людей близких, но не свою. И чуда жаждем, очень жаждем! А чудо — это Бог, это сумма во Вселенной, это объединенный Разум, это Создатель всего и вся. Он нечто и ничто. Он в каждой молекуле, в каждом атоме, и поэтому мы ощущаем его присутствие. Ощущение постоянно, потому что и жизнь, и смерть, и Создатель наш — в нас... Он в каждой Солнечной системе, сумма которых образует Галактику, а миллиарды бесконечно разлетающихся Галактик образуют Вселенную. Может ли биологическое существо — человек — соперничать с такой массой колоссальной мощи опыта! Периодически исчезающее тело — только сосуд для особого энергетического состояния, вечного и никогда не исчезающего, образующего во Вселенной свою сферу между живой и неживой материей... но зачем? У каждой букашки, у каждой твари Божьей есть свое предназначение... какое?

Старик вздыхает:

— Нет и не может быть простых решений. Раз мне, значит, и другим это приходит в голову. Если даже что-то и не так — человечеству страшнее «повиснуть» в пространстве без опоры вообще, усомниться в деталях тех или иных событий. Ведь христианство открыло врата неба для всех. Вера и благородные гуманные качества изменили баланс сил нашей планеты. Возникли невиданные ранее памятники не только храмовой архитектуры и культовых построек, но и дворцов, жилых сооружений. Изменилась мораль, расцвели искусства, философия. Никакая истина на чаше весов не сможет перевесить перечисленного. И имеет ли она смысл, если: «...по вере вашей...»

— О-о! Санек. Давно не видел, — тянет руку ветхий от худобы мужичонка.

Я подаю свою:

— Я тебя, брат, — говорю ему, — не то что давно, вообще никогда в жизни не видел, и как звать-величать — понятия не имею.

Мужичок изумляется обороту дела.

— Да? Попутал, значит. Да и не мудрено — с большого бодуна чего не пригретится. Еду в Воронеж к жене отмокать. Думал, Санек Нос идет — выходит, обмиснул.

— Не поперет жена-то?

— Да ты что! Упаси Бог.

Позже узнал, что это Иван Михайлович, по подворью — Гвоздь, — с самой что ни на есть ольшанской фамилией Елфимов, два срока отрубивший водителем в

Чернобыле после аварии на атомной станции. Местный. Бабы, вспоминая Ивана, качают головами:

— Эт хорошо он водкой лучение отбивал, ею спасался, а то б намного раньше помер...

— Ты, слыхала, милок, вон тот домик купил?

— Купил.

— И как?

— Отремонтировал, обживаюсь.

— Ты, слыхала, Макар Палчу покойному внуком доводишься. Кто ж мамка-то твоя будет?

Я называю.

— И-и-их; ведь я твоих и мать и отца хорошо помню, Царствие им Небесное. Отец твой у гармонь играл — поискать, мать твоя, моя подруга была, дюже хорошо лечить усе болезни умела. А домок хороший, дрова рядом и все угодыя кругом твои.

— Все ничего, — поддакиваю словоохотливой бабушке, — да соседи далековато.

— Самай хорошо, милок! На кой они табе, соседи-то, скандалить?

Мужичонка, припадая на большую ногу, кружит в ожидании поезда и, вроде как кому-то, а на самом деле себе, ни к кому не обращаясь, говорит, говорит:

— Алешке говорю: возьми тележку, с какой бабы на базар ходят, и пройди по тротуарам до Курского железнодорожного вокзала. Да по любой улице Воронежа пройди и все поймешь. Каждый владелец магазина уступом поднял уровень тротуара. Спадает груз с тележки при преодолении препятствия, ломаются колеса, а тебе, губернатору, и дела до этого нет. Не ждате же мне очередного общения президента с народом. Да и дозвониться до него труднее, чем до тебя.

Потом Василий Константинович точно так же долго и обстоятельно беседует с главой города и главой департамента здравоохранения, называя их уменьшительными именами. «Что же это было, — задал я себе вопрос после того, как поезд увез смутьяна, — бравирование, хулиганство, отсутствие такта или русский протест?».

— Родился я в Избище возле Вонючего лога, — рассказал мне он мне потом. — Назвали лог вонючим после великого мора в тридцатых. Покойников было так много, что в этом логу хоронить было некому. Это я уже потом узнал от стариков. А войну плохо помню; я еще совсем маленький был. Так — несколько фрагментов. Услышали мы, пацанва, гул — помню. Гул нарастал. Мы на всякий случай спрятались в кустах. Показался на дороге большущий мотоцикл, а за ним пелена пыли. Перепуганные, мы боялись пошевелиться. Это были немцы. Заглушив мотор, они поозирались и загомонили. Здоровый немец с автоматом пошел к хате, двое остались. Закурили. Дым в нашу сторону несло. Он был без привычного запаха самосада. Мы уже тогда пробовали сворачивать сигарки с сухим древесным листом и прикуривать впотай. Также пах дым немецких сигарет. Из хаты, куда вошел немец, вышла тетка Галя с корзиной. Пошла к соседке. Немец сел курить на пороге свою древесную листву, поглядывая ей вслед. Мы видели, как с соседской теткой Нюрой тетка Галя пошла к другим соседям. Вскоре они принесли к мотоциклу почти полную корзину яиц. Немцы одобрительно погалдели, завели мотоцикл и уехали. Так я в первый раз увидел немцев.

Почему-то, мне сейчас трудно сказать, дед Дорохов Евсей Фомич взял меня однажды за руку и повел. И хотя он мне никакой родней не доводился, меня даже гордость тогда охватила. Я шел рядом с могучим бородачом в лаптях и в широченной рубахе навыпуск домотканого полотна. Он крепко держал меня за руку, все-

ляя уверенность и спокойствие. Курбатовская дорога на Землянск у Репного была заполнена немецкой техникой. Она непрерывным потоком шла в сторону Землянска. На обочине, на равных промежутках друг от друга стояли немцы с автоматами. Евсей Фомич подошел к одному из охранников и заговорил с ним по-немецки. Немец был очень сильно изумлен; даже подозвал соседнего охранника, и они вместе стали осматривать и выслушивать старика, не скрывая восторга. Дед разрешил им потрогать свою окладистую бороду.

Так я во второй раз увидел немцев. Качая головами, они перекрыли движение. Мы перешли на другую сторону булыги (так называли тогда бульжную дорогу на Землянск) и продолжили путь на Бохталовку. Остановился Евсей у старых тополей. Он долго смотрел на остатки усадьбы барина Чекрыжа. Служил он у него управляющим. Видно, вспоминал, как на выходные приезжал он в Избище на тройке лошадей в рессорной коляске, как всем односельчанам привозил тогда подарки.

А осенью, на Покров, подъехал к избе Евсея Фомича автомобиль. Мы никогда не видели шляг, не видели людей в шляпах и потому, увидев шляпу на голове, решили, что это такая каска на мужчине средних лет. Он, выйдя из машины, слегка наклонил голову в сторону сельчан, проходя в избу. Потом мы узнали из разговоров дома, что это был сын барина.

Еще до снега немцы выгнали нас из жилья на улицу. У кого из сельчан были погреба попросторнее, оборудовались жить там. В нашем погребе ступить было некуда — кадушка с соленьем да кучка картофеля. Приняла нас квартировать бабка Большуха. То ли за рост, то ли за познание в хлебопекарном деле прозвала ее деревня так — не знаю. Шутили: «Случись пожар, положит бабка Большуха в один карман деда своего Семку, в другой — документ...» Их и еще несколько стариков немцы из домов не выгнали.

Уходить начали немцы еще в конце января. Если совсем недавно, торжествующие и уверенные, шли они в сторону Воронежа, то теперь обратно — угрюмые и понурые, таща за собой волокуши с ранеными. В Избище похватали они оставшихся мужиков, впрягли их в волокуши и налегке побежали дальше на Касторное. Под Касторным мужиков расстреляли. Бабы ближе к весне ходили с санками забирать. Так в третий раз я видел немцев. Натворить они тут успели много чего — это я уже от старших слышал. Свели по округе леса и отправили древесину в Германию. Из Тарасовой рощи штабели волокли к железной дороге интересной машины — выхлоп у нее был редкий, а загоревшиеся опилки больше года горели. Железную дорогу на Землянск прокинули...

Ну а я после службы в армии строительный институт закончил, главным инженером в Воронеже на стройке проработал. Восьмой десяток приканичваю, — закончил Василий Константинович — то ли хулиган, то ли ерник русский.

— Чтобы вернуться, надо уйти. То и то — движение, но разнополярное, а сходится оно в одной точке, точке «сегодня». И завтра, и послезавтра, и вчера слиты в этой точке. Вот почему провидцы всех времен и народов могут предсказывать из «сегодня» на многие века вперед.

Старик понимает время как протяженность, как некую линию, несущую в себе историю Вселенной от Великого Взрыва, вырвавшего хаотичное существо, непрерывно меняющее свое состояние из Тьмы Великого Хаоса в Упорядочение...

Вон стул у кровати, на который он перед сном уложил одежды. Вон стол у окна с остатками вечерней трапезы. Но, чтоб вернуться, надо уйти...

— И во мне время, как в частности Вселенной, имеет встречный, обратный ход. Как разноименны электрические полярности, как холод и тепло, как все в этом мире света и тьмы... как одно не может быть без другого, так и время имеет обратный ход и... — одновременность! Мое рождение и уход одновремен-

ны и в то же время могут опережать или отставать друг от друга в зависимости от угла моего зрения. Только человек, одно из живых существ в этом мире, способен менять угол зрения. Остальные живые существа живут вечно и сейчас...

В проеме калитки появляется Сашка Нос:

— Нет, ну ты слышал, — испуганно-удивленно выкрикивает он прямо от калитки, — подготовил столбики дубовые, в коре их высушил, чтоб без трещин были, чтоб воротца в огород служили долго и надежно, а тут радио вещает, что через пять миллиардов лет солнце погаснет. У меня и инструмент из рук выпал! Это что ж выходит-то: и калитка зря, и дом кирпичом зря обложил, и колодец зря чистил? Разволновался так, что аж сердце зашло. Все бросил! Понял — выпить край надо, иначе башка с катушек слетит. У тебя есть?

— Нету, — отвечаю.

— Тогда я к Кабану, у Толика всегда есть. Ну новости, — поворачивает к калитке Сашка Нос, — ну новости: век свободы не видать.

Елене Андреевне в очках на крючковатом носу — за девяносто. Так за девяносто, что она уже и сама путается, к какой цифири ближе: к ста или к девяносто. В просторном, с вылинявшими цветами платье и галошах на босу ногу топчется она целыми днями в своем дворе со своими нехитрыми делами. А как? Картошечка своя поднимается и требует окучивания. Помидорчики-огурчики надо доглядеть — да мало ли еще чего на личном подворье надо сделать. В прошлом году в ее дому побили стекла окон.

— Эт ей за бригадирство ее побили, за ее бесстыжие доносы колхозному начальству, за обсчеты в нарядах... — словесно суетится такая же раритетно-прошлая колхозница. — Так сколько лет уже прошло! Советской власти почитай тридцать лет как нету.

— У Бога сроков давности не бывает, — сурово перебивает меня борец за справедливость.

Отец Елены Андреевны много лет назад сдал властям местного мужика. Как говорят в народе, посадил. Брат посаженного подловил Андрея на краже колхозного зерна и тоже посадил. Так жила в те времена не только Андреевка с хуторами вокруг...

Ефим Ефимыч не любил бритье, обрастая иногда до состояния основоположников учения о коммунизме Карла Маркса и Фридриха Энгельса. Но на тепер уже пенсионера Ефима Ефимыча люди, как прежде, давно не обращают никакого внимания. Он из-за этого обстоятельства поначалу переживал немного: всю жизнь на людях и почти вдруг сразу — никто. Потом вроде бы успокоился, но обида осталась. Когда Ельцин своим указом прекратил деятельность КПСС, Ефим Ефимыч даже не успел забрать плащ из своего кабинета инструктора по идеологии — кабинет опечатали, а плащ, по предположению хозяина, увели под руку в неизвестном направлении. Именно в то тягостное время бывший работник РК КПСС часто выходил на улицу в бороде классиков. Но вскоре под подобием их бороды начинала чесаться кожа. Запустив пятерню в гущу зарослей, бывший инструктор пытался восстановить, как он его называл из-за войны в Чечне, конституционный порядок, но безуспешно. Бороду приходилось сбривать. Брил его по старой памяти знакомый парикмахер, незаметно подсыпая во время процесса соли на рану: «Первый-то наш — Сергей Семеныч — выхлопотал себе место в охране экологии. Вчера заходил, хоть и с костью, а орел еще тот». Ефим Ефимыч себе ничего не выхлопотал, да и поздно уже было выхлопатывать.

Многие глубоко важные прежде вещи для Ефима Ефимыча потеряли свой вес, цену и актуальность. Он еще продолжал подвязывать галстук, надевать фетровую шляпу и брать с собой на рынок и в магазин портфель, но все чаще и чаще ловил на себе недоуменные взгляды. «Чего лупятся, — думал все еще в душе наполовину инструктор, предполагая скорые перемены. — Будете, будете вы у меня у кабинета в своей очереди ждать и здороваться, как и прежде, особым образом будете, упоминая не только имя, но и отчество. Да с поклончиком, с поклончиком... мать вашу ити». Но время шло, а на защиту кабинета Ефима Ефимыча никто не становился, как никто не становился на защиту завоеваний пролетарской революции. «Эх, — мысленно горился он, — жаль, не дожил до беспредела Иосиф Виссарионыч. Уж он-то с этими гнидами управился бы в два счета... — При одной этой мысли Ефим Ефимыч вспыхивал праведным гневом. — Как он их душил при жизни. Видно, не всех тогда передушил! А прав был, ох как прав. После него и в органы пробралась измена. Органы не разглядели, или не смогли разглядеть, или не захотели разглядывать словоблудов, дали возможность врагам нашим совершить переворот». Грела мысль, что понимает он это так хорошо благодаря партийной должности идеолога района. Подумать о том как-то иначе даже мысль в голову Ефима Ефимыча не приходила.

Уже через два дня борода вновь давала о себе знать. Тогда идеолог снимал просль электробритвой, станком поправляя виски, но вот почему-то станок на этот раз не поправлял, а скользил. Дотошный внук Иван, обратив внимание на бесплодные дедовы старания, подсказал: «Защиту с лезвия снимите, дед». И, изображая самосвал, загудел по своим делам дальше.

«Ромка-то? Да какой с него полицей! Пацаненок еще совсем он был. Немцы как пришли, так сразу и новую власть установили, и кого куда послали. Дуську — твою мать, мою соседку и подругу — послали в школу детей учить, какую пацанву подобрали — стали готовить железнодорожному делу на разъезде, баб на разные работы. Ты чо? У них все строго было. Ромку, Егор Андрева сынка, в полицию, за порядком, значит, приглядывать поставили. Оно какая власть не будь, сразу свои порядки устанавливает, а нам-то куда деваться? Мы тут живем, значит, надо подчиняться. При советской власти за горсть зерна сажали, так что учены были и к подчинению приучены. Но про своих молчали. На дальнем хуторе пятеро наших солдат в заброшенной избе жили. А один — так прямо в селе к бабенке пристроился. Ромка все ему грозился: «Вот придут наши...»

Порядок у немцев был суровый. Ничуть не слабше нашего советского. Я тогда еще совсем маленькая с бабами на току работала. Старый немецкий солдат за нами приглядывал. Мы приворовывали, он делал вид, что не замечает. Обыскивая, полагает кое-как, понемучет свое, грозный вид сделает, пальцем погрозит и дальше идет. Кто-то из наших баб на немца того немцам настучал — так мы, значить, приучены советской властью были. Зачитали, слышь, немцы прилюдно на площади бумагу и стрелили сердешного. Своего — и то не пожалели!

А тут, как на грех, у Федотики две курицы пропали. Побегала она по соседям — нету кур, хоть ты тресни! «Значит, те, с дальнего хутора, которые свои, оголодали и съели», — решила она.

Федотика, видно, с досады тогда так решила — и шепнула опять же немцам. Она, она это сотворила, стервозина, больше некому — «сумлений ни тады, ни опосля» не было. Приволокли душегубы «усех» пятерых в деревню, согнали народ. Опять бумагу читал ихний с животом, на наших все пальцем показывал. Потом привязали сердешных к дереву, облили из канистры бензином и подожгли — живьем ироды спалили.

Ромка был тихий, никуда не лез, вреда от него никому не было. Когда немцы

отошли, наши заскочили в село на машине. Тот гад, что у бабенки прятался, что-то приехавшим наговорил. Ромку вывели из хаты и тут же под окнами ни за что ни про что стрелили. Мать Ромкина потом в его кофте с заштопанными от пуль дырками ходила. И никакой он был не предатель, чего предавать-то — он же ведь еще и в армии не был...»

— А как и с какой стороны, — спрашиваю, — входили немцы в Андреевку?

Бабушка на время задумывается, уходя взглядом в себя:

— Со стороны Лесополяны через Малинов хутор шли, значит. На танках ехали. Мы все сидели в погребе, дед наверху около дома на лавочке, значит, сидел. Глядь, передний танк прямо на погреб с нами правится, на нем еще ведро стояло. Дед закричал, значит, и показал немцу бадиком (так называют здесь костыль или палочку), что надо объехать. Передний отвернул, остальные за ним пошли стороной. А вот на мотоциклах со стороны Ольшанки ехали, значит.

— А какие они, немцы-то? — спрашиваю.

— Вот живешь, значит, ты в деревне. Кругом соседи: один — такой, другой — такой. Все разные, значит, а народ один. И немцы — какой нам, детворе, бывало, конфетку даст, какой пинком поддаст, — рассказала словоохотливая бабушка. Жаль, не успел еще что-нибудь узнать — поезд подошел.

— Свариваем, — рассказывает Сашка Нос, — с колхозным сварным Мишкой раму прицепа; я прижимаю друг к другу детали, Мишка командует: «Глаза», — закрываю глаза и жду. Сейчас электрод прикоснется к детали, ярко вспыхнет дуга и с шипением и треском соединит детали. Но ни шипения, ни треска, ни слепящей дуги что-то нет. Осторожно приоткрываю глаза, а Мишка, скот, уже пустую посуду на пень ставит. Выжрал, падла, в одиночку наш самогон и не подавился.

Правлюсь к соседу-дачнику, как и я, уроженцу этих мест. Это от него узнал я о предстоящих бедах Украины. Зашел он ко мне в начале декабря расстроенный:

— Обкрыл меня, — возмущается, — сейчас на рынке толстомордый хохол-торгаш. Пригрозил, что после новогодних праздников москалям рыло чистить будет Батьковщина, хвосты-то, — грозился, — мол, поприжмете.

Успокоил я Митрофаныча: украинцы народ такой — им всегда и во всем москали виноваты. Попили тогда чайку, а вскоре, как и обещал обидчик Митрофаныча, началось... но это уже тема иного повествования. Летом Митрофаныч вселился в другое подворье, оставив в низине, некогда самой гуще деревни, родительский дом. Отсюда ближе к остановке поезда. Так вот, подхожу к крылечку и вздрагиваю от неожиданности. Рядом с дверью к стене дома прислонена крышка гроба. В голове от неожиданности шарики (простите мне сию банальность) начинают цеплять за ролики. На деревянных ногах вхожу в открытую по обычаю дверь. Комната, гроб на табуретах. В нем... старушка. У гроба местные старушки и средних лет незнакомая женщина. Делаю легкий поклон приветствия. Пытаюсь понять происходящее, останавливаюсь у гроба. Из соседней комнаты выходит приятель и увлекает меня за собой на улицу.

— Хозяйка дома померла. В ольшанском доме престарелых доживала слепая и глухая. Я ее дочке обещал не чинить препятствий — похоронить покойницу из родного дома, — вводит меня в курс Митрофаныч.

— Сколько ж годков пожила покойница?

— Восемьдесят пять.

— По общим меркам, — говорю, — нормально, но до местных не дотягивает.

— Она не из наших краев, взял ее нашенский мужик, Сергей Ульянович, то ли из Владимировки, то ли из Орехова. Сам-то он ногу на войне потерял, но хозяй-

ство доглядывал справно. Делал все, как видишь, ладно и старательно. Упал с крыши и сломал шейку бедра здоровой ноги. Жив бы был, за ним бы и Анна Григорьевна пожила. Царствие им Небесное — хорошие люди были.

— Чем занималась покойница при жизни?

— Учительствовала. Сначала в местной школе, а как ее прикрыли — в Ольшанке, потом на станции Нижнедевицк.

— А дети?

— Среднего убили в Курбатове. Дочка на пенсии живет в селе Стрелица, была учительницей, как и мама. Младший сын летчик, дослужился до полковника, живет в Москве. Они справно жили. Сергей Ульянович за потерянную на войне ногу деньги получал, машину ему государство давало, бензин оплачивало. Работал до конца дней на железной дороге. Жена в школе не колхозные деньги получала — чего говорить; недолюбливала их деревня за зажиточность и порядок в доме. А меня или тебя, думаешь, долюбливают? То-то!

— Лопаты у стены хозяйские, не раз клепанные стоят, даже воры на них не позарились, а ты мне про зажиточность, — перебиваю Митрофаньча. — Это по тем меркам зажиточность была. Зайди в их старую хату, погляди. Окошки — что мышиные глазки, потолок и двери низенькие, я себе весь лоб расшиб. Две комнатки в избе крохотные. А ведь троих в тесноте вырастили, потом уже новый дом построили, баньку сладили. Как завспоминаешь, как подумаешь о жизни после войны — сердце болью захватывает. Помню: толчет мама в ступе желуди на хлеб. Я сижу около стола. На столе лежат высушенные в печи семена дуба. Один — такой зелененький желудок — привлек мое внимание. «Мам, можно взять», — спрашиваю. «Возьми», — говорит мама. Я беру желудок, пробую и кладу обратно на стол. Смотрю, а у мамы по щекам слезы. «Ты чего кричишь?» — спрашиваю. Слово плачущей тогда не использовалось, а смеяться — грохотать — донине в обиходе. Махнула тогда мама рукой — а, мол, так. А вечером с работы пришел отец. Он на железной дороге шпалы и рельсы таскал — путевым рабочим был. Это потом он ослепнет и доживать будет ощупкой. Мама пустой суп на стол поставила. Хлебнул он этого супа и ложку отложил: «Пойдем-ка лучше спать».

Помогает мне Сашка подкрыть крылечко — шифер подает. Я жалуюсь: ноги в галошах скользят, как бы с крыши не навернуться! «Так давай галоши прибьем», — советует. Слез я с верхотуры, а усталость меня в сон бросает.

— Вот, — говорю, — желаний много: и крышу подкрыть, и на рыбалку сгонзать, а напряжения нет, падает напряжение и сила тока не та. Какие могут быть дела без мочи-мощности?

— Ну, ты от меня по возрасту хорошо постарше будешь, но и у меня, замечаю, напряжение падает.

В расчете на продолжительную беседу Сашка по-зэковски приседает на корточки, хотя лавочка рядом.

— Я уж и стабилизатор подключаю, — Сашка выразительно проводит кончиками пальцев по шее от уха к подбородку, изображая почти интернационально всем понятное. — Помогает, но ненадолго.

— На лавочку садись, на корточках ведь неудобно.

— Садиться уже пробовал. Сидел — терпеть можно.

Затеялся Митрофаньч продавать родительское гнездо: два дома рядом, капитальный гараж с погребом, сад с зимним синапом, виноградом, смородиной-малиной и прочими приятностями. «Кто-нибудь интересовался», — спрашиваю. «Интересовались, — неохотно отвечает Митрофаньч. — То сколько до асфальта, то — далеко ли от дома газ проходит, то какая река рядом». Он горестно разводит

руки: «Ну, нету тут у нас ни асфальта, ни газа, ни реки, ни даже магазина нету. Зато земли — что вправо, что влево паши, сколько распашешь. И красоты кругом, хоть без отрыва бесплатно любуйся!»

— Дом твой — родительский, ладно, но гараж-то ты сам строил кирпичный, и ворота к нему стальные аж из самого Воронежа пер-транспортировал.

Митрофаныч в ответ на мой укор виновато хмурится, пробуя возражать.

— У моих родителей девять нас было, у соседа шесть... у других не меньше. Кто ж мог тогда, в конце восьмидесятых, про такой разор деревни подумать!

— Ты ведь теперь даже покупку-доставку стройматериала в эти места оправдать не сможешь, — лениво итожу то, что и так понятно.

— Газ им подавай, — как бы сам с собой продолжает нудить Митрофаныч. — Асфальт им подавай, реку. А когда же они собираются огород копать, траву косить, сажать-поливать, за садом ухаживать? — не понять на кого все громче и громче недовольствует владелец неликвидного поместья.

— Это дело их. Люди сейчас совсем иной жизнью живут.

— Вот-вот, — перебивает приятель, — дома за бесценок берут, на огородах бурьян разводят. Трудиться на земле никто не хочет. — Помолчал и продолжил: — Я после семилетки в колхоз пошел. Сначала на лошадке водовозил, осенью группу телят принял на откорм, вошел в штат. За год работы выдали мне сто рублей денег и два мешка пшеницы. На эти деньги отец купил мне пальто. Дошло — отцу я не помощник, а нахлебник. Все не могу понять: на что жили тогда многодетные семьи?

— Ты помнишь, сколько лет на тот момент после войны прошло? — перебиваю вопросом Митрофаныча.

— Нет, — сразу догадался он, о чем я. — На советскую власть я не в обиде, а только благодарен ей; это она меня выучила, она меня в люди вывела: стипендию платила, после учебы распределила на работу, квартиру дала. Ты погляди, сколько молодежи, отучившись на родительские кровные, нынче дома сидят! Кстатиг, хотел бы ты опять вернуть советскую власть, ну... при ней еще пожить хотел бы?

Я растерянно молчу — уж слишком неожиданно прозвучал вопрос. Пробую собраться с мыслями, но Митрофаныч, видимо, и не рассчитывая на ответ, продолжает:

— Я — нет. Пока то да се, еще двадцать лет пройдет, а сколько мне осталось-то... Так вот, подался я тогда в Воронеж, в ремеслуху. В вечернюю школу пошел. И обнаружилось: если чему в школе учили, то кое-как. Тяжело было деревенскому пацану в люди выбиваться — высмеивали за деревенский говор, за кое-какую одежду, за безденежье... Что я тебе это все рассказываю, ты сам не с неба свалился. Дед твой чуть ли не соседствовал. Может, детьми когда-то и в одну игру играли — все разве упомянешь!.. Начал я тогда там упираться: токарил на заводе, вечерку закончил, в университет поступил. Изо всех сил, как у нас говорят, упирался. Доупирался до заместителя директора банка. Это там я увидел и изумился — вся финансовая часть страны в руках евреев — народ они в этом деле грамотный. Знают, где, как и с кем себя вести. Грубого и необдуманного от них не услышишь. Вроде как несправедливо такое, но в то же время правильно — специалисты должны дело делать. А нам у них учиться надо, понял я тогда. Для тела теперь — квартира в центре города Воронежа, а для души — земляца дедов-прадедов в родных местах.

Пойдем-ка, я тебе свой огород лучше покажу. Может, и продам кому свое дворянское гнездо... а может, и не продам. Реку им подавай, газ-асфальт им подавай, — вышагивая меж грядок, негодует вчерашний банкир. — Давно земляца без хозяина, задичала, но на будущий год и пырея должно быть меньше, и повиблики. Гноблю я их то тяпкой, то руками. В огородном деле труда — пропасть: как

в начале лета сядешь верхом на тяпку, как ведьма на метлу, так до осени не слезаешь. Глянь, как укроп полез, лук хорошо взялся, арбузы силу набирают, а кабачки и цукини — просто молодцы! — Митрофаныч любовно поглаживает листы растений. — Чуют, слышат и ощущают они мою ласку и поддержку. Дикого зверя погладь — и он ласку услышит, а растения эти, сколько веков они около человека? То-то!

— Плоховато смородина выглядит, — нахожу я изъян в огороде приятеля.

— Тяжеловато ей, — Митрофаныч вздыхает, — сорняк забил, давно без обрезки, а мне ей помочь некогда.

Он нагибается и выдергивает толстенный подсекольник: «Ты глянь, какие кисти с семенами! Брызнет ими во все стороны, как хороший мужик — гектар засеет. Пойдем до лавочки, что-то уж ноги не держат».

Только теперь обращаю внимание на его штаны — у всех они протираются спереди на коленках, а у Митрофаныча сзади. Мой вопрос только усугубил мое положение. Оказалось, я слабо «волоку» не только в огородных, но и в международных делах.

— В условиях санкций против нашей страны мы, как сознательные граждане, — менторским тоном вычитывает мне Митрофаныч, — должны не ныть, а искать импортозамещение. — Усевшись на лавку, Митрофаныч смотрит мне в глаза победно-восторженно. — Надев штаны задом наперед, я лишил китайских производителей наколенников рынка сбыта. Сечешь! — Говоря, он поглощает разрезанный вдоль и посыпанный солью огурец. Хорошо видны крупные семечки огурца на срезе.

— Огурец-то старый, — замечаю.

— Огурец ладно, — парирует приятель. — Я старый, вот беда. А что это значит? Значит только одно: дорога моя скоро туда повернет, — показывает пальцем в небо. — Душа-то туда, да только яйца на земле останутся. Что за жизнь без них на небе будет! Как мне там без своего хозяйства управляться придется, не пойму.

— Только конец августа, а некоторые деревья уже пожелтели, может, к ранней осени? — спрашиваю у Митрофаныча. — У деревьев — как и у людей: одни сидят раньше, другие позже. — Меня подмывает похвастать печью собственного изобретения и постройки с пиролизной топкой, благо дело, мы заняты сегодня пустым трепом. — Как в ноябре затопил, так всю зиму только дрова подкладываю.

— Да-а-а, — задумчиво тянет Митрофаныч. — Это какая же экономия на одних спичках получается!

Я улавливаю его ерничество и отбиваюсь первым, что приходит на ум:

— А бумаги...

Митрофаныч тут же реагирует:

— В условиях нашей местности, где нет почтового сообщения, остер дефицит газетной и туалетной бумаги, твоему изобретению просто нет цены. Твой опыт нужно распространять в труднодоступные районы Крайнего Севера и, может быть, даже, — он поднимает вверх указательный палец, — использовать в освоении космического пространства.

— Там с дровами, — говорю, — напряженка.

— Ты не забыл, как в наше время пели «И на Марсе будут яблони цвести...» — а? Да ты садись, садись, — указывает он рядом место на лавке, устав от пустобрехства. — В ногах, говорят, правды мало.

Я обращаю внимание — на указанном Митрофанычем месте острием вверх довольно заметно торчит гвоздь. Хватаю тяжелый стальной предмет, вознамерившись пригнуть гвоздь.

— Не-не-не, — протестует Митрофаныч, — не надо. — Бросает на гвоздь тряпку: — Между ног его пропусти и не наколешься.

Таков бывший банкир во всем: переложить, переставить, где бы и что бы то ни было, — для него проблематично. «Таковыми и должны быть государственники», — подумал я.

У Пушкина в «Египетских ночах» — Клеопатра: «Свою любовь я продаю; скажите: кто меж вами купит ценою жизни ночь мою». Но мы-то совершаем сделку, не зная ее условий от самого своего рождения и до смерти. «Свершилось! — констатирует поэт. — Куплены три ночи, и ложе смерти их зовет». Они-то знали, что их ждет, и хотели-жаждали одного: чтоб цена соответствовала качеству товара. Ни о торге, ни об аскезе мысль в той ситуации не возникала. Выходит — иначе, и ближе, и понятнее лермонтовское: «Кто близ небес, тот не сражен земным». Так просто и ясно Лермонтов ответил на мои вопросы. Но материалисты еще проще: однажды гаснет свет и исчезает слух.

И только теология оставляет надежду: мы соединяемся с Богом, мы уходим к Нему. И ни о каких условиях с нашей стороны не может быть и речи. Это и воля Его, и деяние. Мы никогда не исчезаем из жизни. Рвутся только оболочки, меняются связи. Мы — крохотный электронный мазок на мозаичном, бесконечном полотне пространств. Мы питаем собой пространство, и оно постепенно становится нами...

Вера — это степень доверия Богу. Она нам, людям, нужна — прежде всего. Если Бога принять за сущность, то это посредник между АБСОЛЮТОМ (любовь, справедливость, истина...) и человеком. А может быть, Бог и есть АБСОЛЮТ? Тогда все напрямую, но как? Ведь мой шепот в шепоте миллиардов звезд и души человеческих может быть услышан не иначе как внутри моей сущности. Не более. Тогда — даже страшно подумать: я — продолжение Бога, я — его периферия...

Если долго смотреть на огонь или вдаль или спать — захмелеешь от сна, от дали и от огня, и начнется бред хмельной, непредсказуемый. Он своими образами заскользит по острию меж «да» и «нет», но эти «да» и «нет» совсем не похожи на то, что мы делаем в сознании прямой суждений и определений. Нет сторонней мысли, которая помогает человеку видеть себя и сдерживать...

Мысль старика путается, уплывает, и он отчетливо вопрошает:

— Господи, зачем мне все это?

Он еще некоторое время все пытался ухватить мысль кончиком сознания, но что-то выше его воли и сил настойчиво мешало этому...

* * *

Выхожу на перрон, заросший дичью зелени. За густотой зарослости у лавочки и с лавочки бухтят голоса. Железнодорожные рабочие в оранжевых жилетах проводят в ожидании поезда выездные посиделки.

— Где двое, трое соберутся во имя мое — там и я, — неудачно каламбурую «темному человеку» приветствие наставлением Христа из Библии. Подойдя поближе, подаю мужикам руку. Мужики ответно ручкаются с неммым вопросом в глазах: не ушибся ли я обо что-нибудь часом по пути? У рабочего с косой прошу косу, вознамерившись сбить поблизости обнаглевшие бурьяны. У присутствующих от изумления челюсти отвисли. Мужик косу подал, но предупредил, что она не косит. «Почему, — спрашиваю, — не косит?» — «Отбить надо, поточить...» — «А зачем же ты ее сюда привез?» — «У кого какой инструмент, у меня вот коса».

«Что-то клинит у ребят логику», — подумалось.

Рабочий в возрасте, не обращая внимания на мое приветственное умствование, говорит курящему у столба с остатками наверху разбитого ржавого фонаря: «Завтра к вечеру подойду, ты дома будешь?» — «Да, дома, а что?» — «Сделал кобелю будку, надо к ножкам-угольникам пятаки приварить, а то в землю уйдет». — «Сделаем». Крайний на лавке — очень серьезно: «Газ-то ты ему не забыл подвести?» — «Не, — так же серьезно в тон отвечает владелец пса. — Я ему печь сложил, пусть дровами топят».

Крайний тут же переключается на байку: «Мерзнет кобель зимой в конуре и думает: надо по теплу конуру подлатать. Зима кончилась, солнышко пригрело. Лежит кобель и думает: какая ж только дурь за зиму в голову не придет».

Из середины сидящих железнодорожников:

— Затеялся свояк дом строить. Материал завез, мужиков нанял. Закончили разметку под фундамент. Маракуют мужики с хозяином — с чего завтра начинать. Выполз и присоседился к маракующим древний дед с блеклыми глазами. Покуривает козью ножку, мужиков слушает. Слушал, слушал и, плохо понимая из-за глухоты, о чем они, подводит разговорам итог: «А вить ишло и печь складать...»

На подходе вскрикнул, просигналив, поезд. Похожий на бригадира скомандовал: «Поезд. Пошли грузиться». Уже в вагоне, когда расселись, голос опять напомнил: «А вить ишло и печь складать...».

Кончик сознания старика выхватывает откуда-то из тьмы:

— Ты же, Сын Божий, — с нами и в нас. Ты укрылся в хлебе и вине. Ты ежедневно проникаешь в каждую клеточку нашу, смешиваясь с нами. Ты не только так укрываешься в нас от врагов своих, но и наполняешь нас собой — своей нежностью и благодатью. А мы, как Фома неверящий, тянемся руками своими дотронуться до ран Твоих! Да, да — до ран Твоих. Мы никак не можем зачеркнуть в наших душах сомнения наши. Никак не можем! Потому не оставливаешь больше Ты на полпути наши похоронные процессии, не повторяешь сказанное вдове из Наина: «Вот, возьми сына твоего живого и не плачь больше» (Лк. 7: 11 — 17). Оттого грубеют наши души, оттого мы иудами отворачиваемся от Тебя, оттого наши нравы и обычаи теряют одухотворенность и божественность, оттого в нас больше желания быть маленькими винтиками с невидимыми шляпками, чтоб нас, не дай Бог, когда-нибудь заметили нас и прибили к кресту!

Так монотонный ад внутреннего одиночества разрушает нас внешне, разрушает души окруженных друзьями и родственниками, ибо только духовное принадлежит Господу и сближает с ним человека. Материальное же, добываемое трудно и по большей части грязно, принадлежит лукавому. И Евангелие — оно еще не благо, а только весть о благе, весть о намерении блага.

